



Москва

6
2014



СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Анатолий ЕГОРОВ. Три рассказа	3
Александр ЖУКОВ. Миниатюры. Стихи	38
Михаил ПОПОВ. Колыбель. Роман	43
Сергей ВАСИЛЬЕВ. «Есть бабочка, есть и птица...» Стихи	136

ПУБЛИЦИСТИКА

Российские исследовательские центры и вузы:

зарубежное финансирование и влияние. Доклад РИСИ	139
Василий ИВАНОВ. Национал-сепаратизм	154

КУЛЬТУРА

Татьяна МАРЬИНА. Игорь Дедков	166
Юлия ГОНЧАРОВА. Книжки разные нужны, книжки разные важны	179
Знаменитые москвичи. Олег ТОРЧИНСКИЙ. Иван Цветков и его галерея	183
Николай КАЛЯГИН. Чтения о русской поэзии. Чтение десятое	186
Антология одного стихотворения Пушкин Александр Сергеевич	203

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

Сергей СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ. Воспоминания	206
--	-----

МОСКОВСКИЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Борис КАРПОВ. Ценный документ русской истории. — Алекс ГРОМОВ. Из глубины столетий. — С афонских дальних рубежей... — Василий ИВАНОВ. Советские корни «русского родноверия»	219
--	-----

МОСКОВСКАЯ ТЕТРАДЬ

Александр ВАСЬКИН. По лермонтовской Москве 227

ДОМАШНЯЯ ЦЕРКОВЬ

Диакон Валерий ДУХАНИН. Невидимая брань: советы
святителя Игнатия (Брянчанинова) 231
Священник Димитрий ШИШКИН. «Русская Украина —
это реальность, с которой придется считаться» 237

Главный редактор В.В. АРТЕМОВ (495) 691-71-10

Генеральный директор В.В. КОВАЛЕВ (495) 691-83-91

Ответственный секретарь О.И. КИРЕЕНКО (495) 691-83-64

Отдел прозы и поэзии Т.А. НЕРЕТИНА (495) 691-68-01

Отдел культуры О.Ю. ТАРАНЕНКО (495) 691-68-01

Домашняя церковь С.И. НОСЕНКО (495) 691-68-01

Главный бухгалтер Л.Э. БУДНИКОВА (495) 691-83-84

Заведующая редакцией М.В. БИКАШОВА (495) 691-71-10

Корректор О.И. ИВАНОВА

Технический редактор Е.Ю. ЕРОФЕЕВА

Общественный совет:

игумен ЕВФИМИЙ (МОИСЕЕВ), П.Н. КРАСНОВ, В.Н. КРУПИН, В.А. КУЛЬЧИЦКИЙ,
П.В. МУЛЬТАТУЛИ, И.И. ПЕРЕВЕРЗИН, В.Г. РАСПУТИН, А.С. САЛУЦКИЙ,
М.Б. СМОЛИН (председатель), архимандрит ТИХОН (ШЕВКУНОВ),
И.Р. ШАФАРЕВИЧ

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Отклоненные рукописи сохраняются в течение года. Рукописи, присланные по электронной почте, не рассматриваются. Материалы принимаются только в распечатанном виде по адресу редакции. Журнал не публикует поэмы, либретто и сценарии.

Подписано в печать 22.05.14. Формат 70х108 1/16. Бумага типографская № 2. Печать офсетная.
Тираж 3000 экз. Заказ 2933.

Свидетельство о регистрации № 554 от 29 декабря 1990 года Министерства печати Российской Федерации

Подписные индексы: 73253 — каталог РОСПЕЧАТЬ, 15612 — «Пресса России», 45211 — каталог «МАП».

Адрес редакции: 119002, Москва, ул. Арбат, д. 20. Телефон +7(495) 691-71-10. Факс +7(495) 691-07-32.

Электронная версия журнала: www.moskvam.ru

e-mail: priem@moskvam.ru

Отпечатано в ОАО «Первая Образцовая типография» Филиал «Чеховский Печатный Двор», 142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1. Сайт: www.chpd.ru; e-mail: sales@chpk.ru, 8(495) 988-63-87.

ISSN 0131-2332

Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

© Журнал «Москва» № 6, 2014

АНАТОЛИЙ ЕГОРОВ



ТРИ РАССКАЗА

Анатолий Георгиевич Егоров родился в 1954 году. Поэт и прозаик. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького.

Автор нескольких книг.

Живет в Барнауле.

Пуговицы генералиссимуса

— Нет, что ни говори, а началось именно с полковника, не раньше. До него все были только слова: ну, решили на политбюро, ну, постановили, растрепали по секрету всей стране — это все политики, болтуны, их при желании можно было всех в одной камере запереть. А делал-то он, полковник, бритва-то у него в руке была...

Сожженное годами лицо старика казалось высеченным на кирпичной кладке; он был худ, очень высок и крепок. Его старый белый полотняный костюм с оттянутыми накладными карманами давно не видел утюга. Костыль, на котором лежали черные руки старика, был не покупным — для такого нигде костыля по росту не купишь; то была выросшая с мощным извивом кленовая ветвь, попавшая к умелому человеку и обретшая после него свой главный смысл — продолжение рук ее нового владельца.

Старик сидел у кривого от дождя и солнца дощатого стола, за каким во дворах играют в домино пенсионеры, возле своего дома — точнее, возле своего подъезда в старом оштукатуренном семиэтажном доме с лепными балконами. Рядом, навалившись на пологую спинку скамьи, полулежал мальчик лет шестнадцати, схожий с ним телом, изросший и худой, как изломанная спица; время от времени он закидывал левую ступню на правое колено и гибким пальцем сосредоточенно копался в подошве своего выдавшего виды огромного кеда. На выбитой земле, среди редких пучков чахлой городской травы была брошена его синяя спортивная сумка с белым словом «Динамо», из которой торчали три едва ли не метровых «французских» батона, заброшенных навалом пакетами с молоком.

— А приказ? — тихо спросил низким голосом мальчик, больше,

пожалуй, занятый своим прохуdivшимся кедом. — Не сам же он это придумал.

— Офицер не должен был этого делать, — упрямо сказал старик. — Никто не должен выполнять преступного приказа. В войну не пострадал ни один немецкий солдат из тех, что отказывались казнить мирных жителей. А ведь то война была, и они головой рисковали, не то что твой полковник. — Старик, видимо, нарочно сказал «твой полковник», чтобы задеть мальчика, и это было несправедливо, потому что мальчик вовсе не защищал полковника, а скорее относился к нему неопределенно, что, впрочем, и раздражало старика. — Ублюдок он. С него все началось. Всегда все начинается с какого-нибудь ублюдка, с дерьма. Вся история стоит на дерьме и ублюдках... Сколько их было на нем? Шесть? Восемь? Десять? Думаешь, они золота пожалели? Не-ет, тут не в золоте дело, совсем не в золоте, — они этим страну на карачки поставили.

Мальчик кивнул: он понял. Но хотел, чтобы и старик его понял, потому что он-то говорил о другом. Он сказал:

— Не в этом дело, не в этом полковнике. Если бы не он, они другого позвали бы. Другой бы сделал. Я хочу сказать, у них все заранее было обговорено, и, если бы он заранее не согласился, они бы другого нашли, который бы согласился. А ты заладил как попка: «Полковник! Полковник!» Совсем, что ли, ни черта уже не понимаешь?

— Вот-вот, все вы так. — Старик осторожно и в то же время несколько беспокойно повел слежавшимися плечами. — Каждый из вас не виноват, а все вместе — в дерьме оказались. Никакого другого они бы не позвали, если бы этот сказал твердо: «Нет». У них духу бы не хватило, я их знаю. Никита от одного взгляда моего в штаны делал, хрущ навозный.

— Значит, знали, кого звать, раз не ошиблись. — Мальчик рассеянно посмотрел на старика и вновь обратился к подошве, размышляя как бы про себя: — Нет, не купят новые, хай поднимут: и эти недели не проносил! Тьфу!

Старик хмуро покосился на мальчика, затем на его огромный кед:

— А ты ковыряй больше, ковыряй, разорви ботинок-то к свиньям собачьим — то-то будет хорошо, то-то внучок тебя похвалит, оглоеда. Походишь тогда босиком до зимы.

— Да! Внучку-то все равно, он бы купил, только мать... Будто это из ее шкуры кеды шьют... — Мальчик на минуту замолчал, словно собираясь с мыслями, и, возвращаясь к прерванному разговору, добавил: — Может, они заранее все обговорили? Наверняка даже обговорили. Без уговора такого никто бы не стал делать.

Теперь замолчал старик, обдумывая слова мальчика.

— Вот я и говорю, — произнес он наконец не торопясь и спокойно. — Значит, они знали, что можно найти такого... полковника.

— Х-ха! — не выдержал мальчик и хлопнул ладонью себе по колену. — Да ты, дед, идеалист! Такого всегда и везде найти можно, а не найти — так любого другого заставить. Думаешь, тебя бы не заставили?

Старик зло сдвинул свои белые косматые брови, совершенно дикие, отчего вверх по лбу его, будто треснула, пролегла глубокая черная морщина; глаз совершенно не стало видно, и кирпичное лицо его приобрело угрожающее выражение, превратившись из просто серьезного в буквально звериное.

— Я бы их, как крыс, пострелял и тут же в яму уложил, — прохрипел он, продираясь голосом сквозь впившийся вдруг в горло спазм. — И этим бы все и закончилось, вся их тухлая «оттепель»... Хотел бы я знать, как тот полковник кончил, — неожиданно заключил он.

— Позвони на Лубянку. Или тебя там уже не помнят?

— Да-а... — Старик плутовато скривил белые губы, отчего кладка его лица опять как бы треснула, но уже поперек. — Они там трясутся все, будто жид в петле, как меня вспоминают. Жалеют, видать, что в свое время на пенсион отправляли, а не в подвал... Еще когда нас собирали в последний раз, пней-то всех замшелых, — ты тогда титьку еще сосал, — говорил я Андропову: «Ты, Юра, воля твоя, не так все делаешь. Серьезней надо быть. Они понимают одно слово — “пуля”. И то если его в голову им вбить». Не послушал. Сперва развел руками, а потом болтовню развел. А тут его еще этот «боинг» корейский подкосил. Н-да, Сталин хоть десять «боингов» сбей, янки бы только утерлись... Но если бы полковника того не было, то никакие корейцы были бы не страшны.

Еще помолчали, то ли размышляя, то ли вспоминая что-то.

— Сколько ж ты, дед, людишек-то пострелял в своих подвалах? — спросил вдруг мальчик, отрывая половину батона и доставая из сумки пакет с молоком.

— А много, сынок. Много. А все... мало. Надо было не жалеть. Но это, видать, всегда так, когда перед тобой живой человек. Они ведь по виду совсем как мы — две руки, две ноги... Уже и сам перестаешь верить, что они другие, что не люди. Мне теперь кажется, — голос старика ушел вниз, — мне кажется, что и Сталин терялся на этом же. Тоже их жалел. Иначе откуда же шла эта неуверенность?

— Надо было водкой ее, неуверенность-то. — Мальчик все пошучивал.

— Водки тоже надолго не хватит. Здесь такое, что не преодолеть ничем, что-то, на чем человек держится. Сломаешь — и уж не подымешься. Это только они смогли в себе переступить и миллионами людей давить, как насекомых... А может, и нечего было переступать... Может, у них никогда этого и не было... Не было, да... Читаешь Ленина, приказы его — о карательных мерах, о взятии заложников и «образцовой беспощадности», — и думаешь: а как бы ты, Владимир Ильич, у меня на допросе себя повел? «Образцово» ли?.. Хватал бы за сапоги...

Мальчик засмеялся, представив себе, наверное, как это Владимир Ильич хватал бы старика за сапоги в лубянском подвале, — тот самый Владимир Ильич, к которому еще совсем недавно стояли огромные очереди через всю Красную площадь.

— Хочешь сливок, дед? — спросил он. — С батонем?

— И тебе не советую, — буркнул старик. — Здоровый уже, а все сосеешь.

— Что за беда...

— Вот-вот, все у вас не беда. Я в четырнадцать лет уже маузер свой имел, а ты поди и... не стрельнул ни разу. — Слово «стрельнул» старик произнес брезгливо.

— Так ты ж не даешь! — возмутился мальчик. — Зажался со своими пистолетами — ни себе, ни людям.

Старик опять помолчал и сказал с едва уловимым сочувствием:

— Дурак. Свои иметь надо.

— Ага, «свои». — Мальчик обиделся. — Где бы я их взял-то!

— Вот я и говорю: дурак, раз не знаешь, где взять. А убивать тебя придут, что, батонем будешь отбиваться? Молоком на них поливать?.. Хе-хе. — Старик опять растянул свои белые губы в улыбке, больше похожей на глубокую царапину. — Батонем! Бах-бабах по голове им!.. У тебя поди и ножа приличного нет...

— Есть!

— Покажи. — Старик протянул руку.

— Он дома.

— Тьфу! — Старик даже костылем пристукнул. — Ты бы его еще на полатах спрятал... Ты что же, так и ходишь без ничего?

— А ты?

Старик достал из бокового кармана пиджака маленький вороненый пистолет. В его обезьяньей лапе он казался игрушкой.

— Газовый? — недоверчиво кивнул мальчик, кладя батон с молоком на скамейку и завороченно приближаясь всем телом к оружию.

— Дурак, — опять словно сплюнул старик. — Дамский просто. Так, для двора...

— Деда, — как маленький попросил мальчик, — дай поддержать, а?

Старик неуловимым движением выбросил в другую ладонь обойму, передернул затвор и нажал на спусковой крючок.

Чок! — послушно ответило оружие.

— Держи.

Мальчик бережно взял малышку, пробуя ее на вес, сказал: «Да-а...» — повернул другой стороной, заглянул в ствол, оттянул затвор, заглянул в патронник, покачал головой: «Да-а...»

— Что «да-а»? — Старик был доволен и недоволен произведенным впечатлением.

— Мне бы такой.

— Ну да, ты бы его на полатах спрятал. Да и зачем он тебе? Титька же лучше, она ведь — не беда.

Мальчик бросил недоеденный батон и пакет с остатками молока в жестяную урну и сказал убежденно:

— Как только помрешь, дед, я дома обыск устрою — сразу же, пока суета не улеглась.

— Я еще тебя переживу.

— Куда! Тебе и до ста не дотянуть.

— Шесть-то лет? Дотяну. А там по новой счет начну.

— А родители про твой арсенал знают?

— Костька знает, но не знает, где лежат. Так что у тебя конкурент будет в сыске — внучок, тятя твой.

— Де-еда! — опять по-ребячьи попросил мальчик. — А ты бы мне теперь сказал где, а я — слово даю! — пока не помрешь, не притронусь, а, деда?.. А сколько их там? Может, нам с внучком на двоих хватит?

— Ишь ты! Какой!.. Сам найдешь, коли надо будет, Костька через неделю только хватится: малахольный он какой-то — весь в Ваську, в деда твоего. Дурное семя ваше. Это поляки подпортили через бабку Брониславу, прабабку твою. Мы-то, русаки, без оружия и на двор не ходили. Мне братан старший в семь лет наган дал схоронить, и я два года его берег — и сберег, ни одного патрона не потратил. Каждую неделю чистил. Потому знал: оружие. А тебе все цацки. Ты вон какой вымахал, а пистолета у меня, даже этого, в руках ни разу не видел. Теперь побежишь звонить по всему городу...

— Да ты что, дед! Педом быть! Да я...

— Ладно... — Старик забрал у мальчика оружие. — Приходи вечером в кабинет — дам почистить.

— Спасибо! Ну, спасибо, дед! — обрадовался мальчик.

— Только ведь без пользы все это. Не тот вы народ. Не тот... Дураки все, о жратве только и думаете. — Старик оживился. — Это ж надо, на за-

втрак подают масло, сыр, колбасу, яйца, конфеты с кофе, печенье, чай — тьфу! И на все это работают, работают! Хлеба с вечера не купили — скандал дома. Будто нельзя без хлеба один день обойтись; не день даже — утро одно!.. Все, все с полковника началось, он первый захотел жрать сладко. Как только он пуговицы со Сталина срезал золотые, а медные пришел — тотчас они и поняли, что со страной можно делать все, что угодно.

— Да при чем здесь полковник-то? — уже с раздражением воскликнул мальчик. — Он бы не срезал — другого бы позвали.

Разговор, оказывается, не погас, а лишь затаился, будто огонь в золе, и вспыхнул от одного лишь слова.

— Не-ет, не позвали бы! — Старик повернулся к мальчику всем телом и даже постучал костылем в землю. Не позвали бы — духу бы не хватило! Полковник этот всю страну на колени поставил. Попробовал бы он с живого генералиссимуса хоть одну пуговицу срезать, падаль. Так надругаться, так надругаться... Бедная Россия!..

— Ну! Англичане с мертвым Кромвелем еще не так поступили: под эшафот гроб его затащили и головы над ним рубили. И ничего.

— Что ты про Кромвеля знаешь! Что в вашей школе про него могут рассказать! — Старик поскреб костылем каменную землю. — Но пусть даже по-твоему будет. И что же теперь от великой Британии осталось? Скажи мне, сынок, — что?

— Живут... — Мальчик уже не вполне понимал старика. — И лучше нас живут.

— «Живут»... Тараканы на кухне тоже живут — по ночам. И тоже лучше вас, потому как даже на работу не ходят. Мертвецы вы. Безбожники и рабы. Идешь по улице, а навстречу все какие-то медузы ползут, с опухшими мордами, слепые... И все как один — без оружия. Вот что с вами сделали. Пропала Россия, пропала. Вы — быдло. Вы все произошли от того полковника. Гнилая кровь сильнее здоровой.

— А где же вы были, когда мы от него «происходили»? Где ты был?

— Мы свое дело делали и сделали. И я тоже. Мы столько на себе перетасили, что вам и не снилось. Или тебе этого мало? Хочешь на все готовое? Так не бывает. Мне сто лет уже, а все не знаю, кому ношу свою передать, так, видать, с ней и помру. А вы все рядом будете стоять да на Англию кивать — там, мол, колбасы больше, чем «в этой стране».

Старик замолчал, дрожа, словно в лихорадке. Но мысли не речь: не остановишь. «Свиньи, — думал он. — Свиньи и скоты. Скоты!» Нет, не о мальчике думал он, не о правнуке своем, на которого, может быть, и была вся его надежда, — но про всех остальных, про всю страну, он думал именно так. И разве осудишь его? Жизнь, прошедшая в борьбе и трудах, в непосильных тяготах и утратах, должна была уже умереть в нем, но Господь, словно в насмешку, все еще не брал к себе его старое тело, забыв о нем в водовороте других двуногих, будто говоря: «Смотри! Вот чего стоят труды человеческие! Все вы — твари, все — в Моей власти!» И это бессилие пред высшей силой было не слабостью, а закономерным поражением, но старик воспринимал его как очередное предательство.

Бог мой, какая насмешка — столько водить человека по жизни, терзать, заставлять убивать других, мучиться и через сто лет привести его к тому месту, откуда он начал свой путь, к тому же разбитому корыту, которое никогда, пожалуй, уж не склеить. Зачем? В чем здесь смысл? Невозможно постичь этот абсурд.

Но что-то живет в нас, что заставляет каждого неизбежно кружить в этом мрачном небе, зовущемся жизнью! Что-то же толкает несмысленно-

го мальчишку из дома — на камни вечной дороги, теряющейся вдали у своего истока!

Вот и разгадка жизни, слишком простая, чтобы в нее поверить, но единственная в своей неопровержимости. И сколько раз мелькал в секунды просветления этот ясный ответ — но все-то был не нужен среди мелких забот. А теперь — нет. Теперь настал час, когда ничего уже отодвигать нельзя и следует прямо сказать себе: *жизнь дана лишь для того, чтобы сохранить жизнь и продолжить ее во мраке бесконечной смерти*. И сколько бы нелепостей ни встречалось на этом пути, все они ничто по сравнению со стремлением к столь великой цели. А значит — вперед! В который уже раз падая и поднимаясь, в кровь разбивая лицо и руки, пока есть — нет, не силы — хотя бы дыхание, — вперед и вперед, ибо конца не было и нет. И не должно быть. И не будет, если каждый сделает хотя бы на один шаг больше, чем отпущено ему судьбой. И это и есть великое и божественное *Всегда*, которое вечно несет в себе каждого из нас!

— Дед! Ты что, дед! — Мальчик, опустившись перед стариком на колени, тряс его за плечо. — Ты чего побледнел?

— А... Это ты, сынок. — Старик с трудом возвращался из своего «путешествия». — Что-то я задремал.

— Нет, не задремал! Не задремал! — настаивал мальчик. — Ты уж умирать начал, я же вижу.

— Так что с того? Значит, пора. Ты по мне не горюй: мог ведь и вовсе меня не застать — эвон как я зажился!

— И живи, живи себе, и не надо мне твоих пистолетов, черт старый! Задаvisь ты ими, только не помирай. — В глазах мальчика стояли слезы, но, странно, только в слезах лицо его приобрело ту мужественность, с которой смело можно вступать в свою жизнь.

И старик почувствовал это. Чтобы не ошибиться, он пристальной вгляделся в мальчика и неожиданно увидел в нем самого себя, только восьмидесятилетней давности. Да, какое сходство! И как это он раньше не замечал...

Рука старика опустилась в оттопыренный карман мятого пиджака и извлекла оттуда маленький черный пистолет.

— Держи, — сказал старик. — Твой.

Мальчик взял оружие, но уже безо всякого почтения и тем более восторга, подкинул его на ладони, такой же огромной, как и у старика, но еще розовой и нежной, и сунул в карман узких джинсов.

И только частое пошмыгивание носом еще выдавало в нем ребенка.

Делириум

Хорошее дело привычка. Пожалуй, даже любая привычка, пусть и не вполне приличная. С ней в жизнь входит порядок. Скажем, все знают, что курить до завтрака вредно, однако если завести себе такую привычку, то явление это обретает уже совершенно иной смысл: вместо праздных рассуждений о вреде в голову приходят мысли о размеренности вашей жизни и обстоятельности вашего характера, о внутренней опоре, наконец. И согласитесь, рядом с такими материями ущерб от сигареты предстает несопоставимо ничтожным. Но! — одно «но» — курить натошак надо непременно каждое утро, так как нарушение этого распорядка ведет буквально к физической катастрофе. Первыми предпосылками ее являются

упаднические мысли о том, что «и сегодня можно бы потерпеть часок», а итогом — абсурдное желание «бросить вообще». Но нелепо, приобретая невесту что, терять такую ценную вещь, как привычка!

Приблизительно так мог бы рассуждать герой наш, Павел Васильевич Грохотов, чиновник лет пятидесяти, в меру лысоватый, в меру полный, невеликого роста, со слегка помятыми щеками и глазками маленькими, острыми и пронзительно-серыми. Мог бы, кабы не мурлыкал он себе под нос песенки да не суетился в сей момент на кухне, готовя себе скромный холостяцкий ужин, состоящий из жаренной на постном масле картошки и квашеной капусты, заправленной тем же постным маслом, и даже без лука. Ну чего бы ему суетиться да еще напевать при этом, шлепая в такт и не в такт по полу тапком? Ведь и ужин как будто не бог весть какой — не шашлык там и не цыпленок с овощами; ужин более чем скромный (да и хлеб черствый). И годы, как говорится, оставляют желать прошлого. Ни семьи, ни детей, только запущенная однокомнатная квартира на четвертом этаже панельного дома. Может, премию на службе получил? Ну, в наше-то время!.. Так в чем же дело?

А в водочке дело, в водочке. Она, холодненькая, душу греет нашему Павлу Васильевичу. И еще — в привычке, что упрочилась уже и стала опорой в размеренной его жизни, крепя обстоятельность его характера.

Каждый божий будний день Павел Васильевич, служащий бухгалтерии ликеро-водочного завода, приносит домой, как он в шутку выражается, бронежилет — им самим склеенный из тонкой резины плоский мешочек, незаметно помещающийся на спине его и столь же незаметно привязываемый к плечам и талии (или к тому, что от нее осталось) бечевками. Содержимое его не булькает, а приятно перекачивается при движении.

Не станем рассказывать всех подробностей тайной деятельности нашего героя, чтобы не подвигать на подобное прочих служащих как нашего, так и других ликеро-водочных заводов, а заметим только вскользь, что все-то Павлу Васильевичу пока — тьфу-тьфу-тьфу! — сходило. Правда, чего греха таить, замирало сердечко на проходной, ну да испуг-то был такой вот малюсенький, а удовольствие потом — во! огромное! Тут не замурлычешь — запоешь во весь голос.

И вот когда уже исполнен последний, тридцатилетней давности шлягер и приплыла на стол шипящая в сковороде картошечка и капуста, розовеющая нашинкованной морковью и щедро пересыпанная в свое время укропным семенем, радует глаз, Павел Васильевич аккуратно наливает в маленькую стопочку первый глоток водочки. Ах, как же она тягуча, как ароматна, холодна... Нет, здесь перо мое бессильно, и я могу лишь посоветовать хотя бы мельком взглянуть в лицо Павла Васильевича. Оно расправляется, юношески розовеет, глазки в наслаждении прикрываются, рот сам собою делает улыбку, и только нижняя губа чуть подается вперед, хоботком, и ложится в этот хоботок край стопочки, и гордо закидывается голова, и... и пламенный лед проносится по языку и срывается в мрачную бездну желудка, чтобы взорваться в истосковавшихся пучинах его и тотчас вознести кверху разбуженное блаженство. И хрустит уже на хороших желтых зубах крепкая капуста, и зависает над сковородой вилка, выискивая кусочек поподжаристей, и рассеян полуприкрытый взгляд, и свежа улыбка, ясна мысль, прекрасны прошлое и будущее, красив мир, и хочется жить, жить, жить!.. И вторая стопочка только обостряет это желание, и третья делает его еще яростней...

А вот тут прошу минуточку. Надо же такому было в свое время случиться, а потом повториться, да опять и опять — и так каждый божий

будний день и, кажется, уже до скончания века... Именно после третьей повадился приходить к Павлу Васильевичу некто, на кого-то очень похожий господин, с бородкой, с рожками, в узком пиджачке, надетом на жилетку, что притом и короток ему был, в узких же брючках, в котелке. Вид этот господин от головы до штиблет имел крайне засаленный, но все же старался следить за собой и, находясь в гостях у Павла Васильевича, постоянно стряхивался и снимал с себя одному ему видимые волоски и соринки. Прежде чем сесть, он всегда осматривался и трогал пальцами стул, словно ждал какого подвоха или же не верил в прочность мебели Павла Васильевича, а вставая, осторожно притопывал, глядя под ноги, будто и пол казался ему ненадежным. Вообще, господин он был странный, и именно господин, ибо никакое другое слово не определило бы вполне его наружности, тем более слово «товарищ». Но господин опять же в ироническом значении: то есть все вот вокруг будто бы товарищи, а этот — господин.

И еще — перчатки. Он никогда не снимал тонких кожаных перчаток, которые так привычно плотно облегали кисти его рук, что и не казались бы вовсе перчатками, если бы не их черный цвет. Впрочем, если и выглядел гость Павла Васильевича несколько старомодно, то и изъяснялся он на тот же манер, а значит, личностью был вполне гармоничной.

И вот стоило Павлу Васильевичу в третий раз запрокинуть голову, как раздался робкий, всего два удара, стук в дверь. (Надобно здесь в скобках заметить, что гость этот никогда электрическим звонком не пользовался, чем и выдавал себя всякий раз.) Не спеша закусив, Павел Васильевич вразвалку направился в прихожую, бормоча про себя благодущную нечленораздельную брань, и отпер дверь.

— Мое почтение, — извиняясь, кивнул стоящий на пороге гость и тихонько кашлянул в черный кулак, ожидая приглашения войти. Хотя, может быть, кашлять у него была совсем другая причина. Дело в том, что стояла как раз зима, и на дворе потрескивал изрядный морозец, а гость был в том же куцем костюмчике да в фетровом котелке с порванными в двух местах полями. То есть замерз он натурально: нос его покраснел, от ушей шел пар, и штиблетики постукивали по кафелю лестничной площадки, словно копытца.

— Кхе-кхе... — снова робко намекнул гость хозяину, который весело разглядывал его.

— А, Делириум! — усмехнулся Павел Васильевич, будто бы очнувшись и не совсем по назначению употребляя латинское словцо, однако шире распахивая при этом дверь. — Ну, входи, входи, рогатый.

Гость замешкался, еще больше смутился, но счел все же своим долгом поправить хозяина:

— Еще раз прошу прощения (видимо, уже не впервой возникало у них в этом пункте разногласие), еще раз, любезный Павел Васильевич. Но не могу не напомнить вам, что не являюсь и никогда не являлся галлюцинацией, плодом, так сказать, горячечного вашего воображения; напротив же — вполне натурален, и вы можете меня потрогать... Вот и рожки опять же... К тому же галлюцинация явилась бы пред вами сама собой — так, из ничего бы образовалась. Я же, как вы изволили заметить, постучал в дверь и тем самым оторвал вас от ужина, за что великодушно простите. Да и замерз, признаться, пока добирался, а галлюцинация ведь...

— Что, не мерзнет? — по-прежнему усмехаясь, перебил хозяин. — Да ведь это смотря чья галлюцинация — моя, может, и мерзнет, и в дверь ходит. Вот позвони в звонок, тогда поверю. А?

Это, по-видимому, тоже была старая шутка Павла Васильевича, потому что гость от слов его еще более смутился и потупился, проямлив лишь виновато:

— Знаете ведь, что не могу, а просите.

— Ну, ладно, ладно, только без обид. Входи, садись на свой стул, получи свою рюмку.

Гость просиял, осторожно прошел в комнату, осторожно сел и взглянул на Павла Васильевича, ожидая обещанного. И только когда наполненная стопочка оказалась в его руке, укоризненно, даже с некоторым сладострастием заметил:

— Краденая водочка-то?

— Краденая, краденая, — привычно согласился Павел Васильевич.

— И не стыдно вам краденую-то?

— Так я ж не один пью, тебя вот угощаю — это как?

— По нашему ведомству такое дозволяется, — туманно отвечивал гость, — а вот вам-то постыдиться бы да выбросить ваш «бронезилет». Хотя... хотя теперь это уж трудно будет сделать, боюсь, даже невозможно, ибо алкоголик вы, законченный алкоголик.

— И что, что «алкоголик»? — Взгляд Павла Васильевича, устремленный на гостя, был прям и тверд. — Что из того? Я завтра подымусь пораньше, кашки манной сварю жиденько, кружку выпью, а следом — чайку крепкого столько же, вот весь мой алкоголизм как рукой и снимет. Приду и буду служить весь день, и запаха от меня никто не учует.

— «Запах»... «Запах»... — словно мягкое лесное эхо, задумчиво повторил гость. — Разве в запахе дело? Жизнь ваша закатывается.

— «Жизнь», — теперь уже хозяин откликнулся столь же глухо. — А что она — жизнь? День все одно пройдет, пей я или лобзиком чего выпиливай. И какая разница, сколько дней этих будет — больше ли, меньше ли...

— Ну! Это вы по-школярски, — тотчас усмехнулся гость. — Представьте-ка: вот вы теперь сидите в тепле и водочку попиваете, а какой-нибудь ровесник ваш тем временем в мерзлой земле лежит, в ящике, в костюмчике одном, на спине распоротом. Поменяетесь с ним?

— Всему свой срок, — уклонился от прямого ответа Павел Васильевич. — Народ наш метко выражается: пока мы живы — смерти нет, а смерть придет — нас не будет.

— Загадочно выражается ваш народ. Не разумею.

— А ты пей, рогатый, и нечего тут разуместь, если сразу не дадено. Да пей как следует, что ты ее весь вечер-то тянешь. Глянь-ка на графинчик, я ведь сегодня и на тебя принес; чуть полнее налил — и на двоих теперь хватит. Так что не стесняйся.

По глазам господина было видно, что он, едва вошел в комнату, тотчас заметил «перемены» в графинчике, но виду не подал, а ждал, пока ему сообщат об этом. И вообще нелишне будет упомянуть о его прозорливости. Однако не станем уклоняться от дальнейших событий и скажем только, что сообщение о графинчике произвело на гостя самое благоприятное впечатление, потому что он вдруг с удовольствием зажмурился и выпил разом всю стопку, чего раньше никогда не делал, не желая, видимо, употреблять то, что ему не принадлежит, и сокращать тем самым хозяину его обычную норму.

— Молодец, Делириум! — крикнул Павел Васильевич, наблюдавший за тем, как лихо выпил его гость. — Завтра приходи, я еще больше принесу.

— Украдете, — уточнил Делириум, аппетитно закусывая капусткой. — Славно вы здесь живете.

— А тебе дома-то что, плохо? — Павел Васильевич тоже выпил и теперь тоже закусывал капусткой.

— А вот вообразите: как у вас тут начался этот разброд — так у нас еще до него да вдвое хуже. Цены на продукты стали ну просто нереальные. Хоть водочку взять. У вас, если поискать, можно и за семьдесят шесть найти — «Зверобой», скажем. А у нас он двести с лишним стоит. А барыги, те за все четыреста продают, черти.

— Вот те на, — несколько равнодушно откликнулся хозяин, шаря вилкой в сковороде. — А жалованье что ж, не повышают?

— Повышают. Ползком. Как и у вас здесь. А цены — эвон как скачут, поди догони! У меня сейчас больше тысячи выходит.

— Что ж, жить можно, если не пить.

— Я и не пью.

— И не пей.

— И не пью. Только все одно не хватает, семья на картошке сидит, как вот вы.

— Тоже неплохо. Где ж берешь картошку-то?

— Так подкапываем.

— Как это?

— Так снизу. Вашу и подкапываем. Вы сверху — мы снизу. Кто вперед успеет.

— Воруете, — мстительно уточнил Павел Васильевич.

— Воруем, — горестным эхом откликнулся гость. — Только опять же прошу учесть, что у нас это допускается.

— У нас тоже, — махнул рукой Павел Васильевич. — Так-то, брат Делириум. Ну а чего ходишь туда-сюда? Жил бы уж здесь, раз здесь дешевле. Вывез бы семейство, сараюшку бы какую ни на есть слепил и жил бы. Морозов, я гляжу, не боишься, пробавляешься, как все, воровством — вполне бы мог устроиться.

— Не положено нам, — хмуро произнес гость. — А насчет морозов — это вы напрасно пошутили. Мы морозов так же боимся, как все. Мы живые. И жаль, что вы меня все Делириумом называете, словно я плод вашего воображения... Атеист вы, Павел Васильевич, право слово... И... и не наблюдательны. Помните, приятель к вам заходил, в ноябре еще? Мы же были представлены друг другу, руку я ему пожал, он говорил со мною. Как же и он-то мог с галлюцинацией говорить?

— Э, чего там, — поморщился хозяин, — и приятель вполне мог быть галлюцинацией. Оба вы тут передо мною и скакали, а как я спать лег — тю! Улетучились... Да и приятель мой тот еще тип: черт знает с кем ни беседует, когда выпьет.

Однако тема эта почему-то весьма интересовала Делириума, и такие ответы хозяина его устроить никак не могли. Он очень хотел ясности на этот счет и потому, отчаявшись, в волнении воскликнул:

— Но позвольте! В таком случае и я могу считать вас своей галлюцинацией.

— И считай. И на здоровье. — Павел Васильевич налил еще по стопочке.

— Да, но вы на службу ходите...

— И служба — галлюцинация.

— Но водочку-то крадете!

— И водочка — галлюцинация. И наплюй. Это я тебе говорю как галлюцинация галлюцинации. Пей.

Выпили.

— Но что же мне сделать, чтоб доказать вам обратное?

— А ничего ты не сделаешь.

Делириум умолк, забыв взгляд на собеседнике, и во взгляде этом были скорбь и отчаяние: положение его вдруг показалось ему совершенно, безнадежно безвыходным; действительно, доказать Павлу Васильевичу факт своего существования он был не способен.

— Да вы... — пролепетал он, — да вы страшный человек...

— Страшный, — негромко сквозь капустный хруст согласился Павел Васильевич. — Но ты меня не бойся. Ты пей.

Еще выпили. Помолчали. Павел Васильевич комфортно откинулся на спинку кресла, сыто икнул и ласково посмотрел на гостя.

— Не понимаю тебя, рогатый, — благодушно молвил он. — Чего ты хочешь? Галлюцинация — не галлюцинация, делириум — не делириум... Не все ли равно?

— Простите, но порядок же должен быть, порядок! — воскликнул наш господин и в возбуждении опять пошевелился на стуле.

— Порядок, — усмехнулся Павел Васильевич, усмехнулся несколько даже глумливо, несмотря на прекрасное свое настроение. — Картошку нашу подкапывать — это порядок?.. Молчишь... Скажи лучше, зачем ко мне ходишь. Заманиваешь куда, что ли? Так меня не заманишь: я меру знаю.

— Затрудняюсь даже понять вас, — мелко и ненатурально засмеялся Делириум. — То вы говорите о моей, так сказать, ирреальности, а то вдруг причины какие-то спрашиваете. Как сие связать воедино?

— Ты не вилай тут! — сердито прикрикнул на гостя Павел Васильевич, обнаружив за этой сердитостью свою неуверенность в споре.

И наблюдательный собеседник тотчас уловил подвижку и потому продолжительно посмотрел на Павла Васильевича вприщур и назидательно отвечал:

— Что же мне влиять, сами посудите? И как мне еще что-то открыть вам возможно, коли вы слов не понимаете? Сейчас вот только говорили с вами о ценах на водку, и я ничего от вас не скрыл. Ведь не скрыл?

— Ну.

— А помните, месяца полтора назад был у нас такой же разговорчик — тоже в два слова и тоже о водке?

— Верно, что-то было. И что?

— Так вы сопоставьте те цены и эти.

— Э-э! Я уж и не помню их. Сам сопоставь.

— Извольте. Вы тогда здесь за пятьдесят водочку покупали, а мы — уже за сто. Теперь вы, если не по талонам, на вокзале можете взять за сто двадцать, а мы — вдвое платим. А я все хожу к вам, и не только к вам, и не я один, но по всей стране. И ведь кабы поразмыслили вы или хоть меня со вниманием послушали, то заметили бы, что сперва у нас все меняется, а затем уж у вас. И я не то что не скрываю положения, но, напротив, часто указываю вам на него.

— И что? — нелепо повторил Павел Васильевич и опять икнул, но уже с удивлением и, если можно так выразиться, заинтересованно.

— А то, непонятливый вы человек, что ходим мы эдак, смотрим, спрашиваем, а затем у себя — там — докладываем кому следует, что увидели и узнали. Эксперимент — понимаете? По пятьдесят стали брать? Ну-ка, посмотрим теперь, что будет, если по сто двадцать сделать. Сделали — сперва опять же у нас, — берут. Тогда у вас. Тоже берут. Тогда — опять же у нас — по двести да по четыреста. Берут. Скоро, значит, и у вас будут брать. И разумеется, не только с водкой такое, — это я для наглядности вам, — а со всеми продуктами, со всеми товарами.

— Как это?

— А так, что мы там у себя докладываем *самому*, а он говорит: «Ага!» — и идет к вашему *самому*: ваш ведь, Николаич-то, тоже водочку крепко уважает. Вот и сидят они вдвоем день, да другой, да третий, решают, как быть. А чего там решать, когда *нашим-то* все уж давно решено и *вашему* Николаичу в готовом виде подано. Так уж, выпивают просто за икоркой, беседы посторонние ведут... Важно, чтоб *наш-то* у *вашего* все на глазах был.

На Павла Васильевича рассказ гостя произвел, надо сказать, поразительное впечатление, от слова к слову удивление его росло, и хмель заметно уходил из его глаз.

— Вот оно что-о, — протянул он в конце. — Но... ко мне-то ты зачем ходишь, я же водку не покупаю?

— Различные слои изучаем, различные, в том числе и те, на которые опереться можно будет в случае чего. Все учитывается, любезный мой Павел Васильевич. Нас ведь миллионы, как и вас. И многие здесь, надо сказать, очень многие принимают нас, как и вы, за галлюцинации и потому очень охотно общаются. А затем в такие графики попадают, что страшно глянуть. Хоть вас возьми: один всего человек, точка едва видимая — а из точек этих линия составляется, и куда она поведет, куда повернет и выведет, лишь избранным известно, а мы сие в доподлинности не ведаем, но лишь предположительно. Одно могу сказать уверенно: пока все сходится.

Теперь вот только окончательно прояснились мыслью и стали пронзительно-серыми глазки Павла Васильевича. Он, упершись руками в колени, подался вперед, но не затем уже вовсе, чтобы наполнить стопочки, а чтоб открыть рот и произнести нечто важное. Однако рот он открыл, но произнести ничего не смог: жестокий кашель пресек его речь, и лишь обрывочные «Но как!.. Как же!..» вырывались из груди его.

— Ну-ну-ну, — успокаивал его как мог оробевший вдруг наш Делириум, желая, по всей видимости, вскочить со своего места, обежать стол и, как часто бывает в таких случаях, постучать несчастного по спине, но не смея этого сделать. — Ну-ну-ну-ну.

Наконец Павел Васильевич отдышался, громко втянул носом воздух, отер слезу и сказал ясным голосом:

— Но ведь что же это тогда получается? Ты сам живешь в нищете, семья твоя голодает, картошку и ту крадешь, давеча говорил, что в ванной моей с удовольствием бы всемером поселился, а... а сам же и работаешь на *них*! Шныряешь тут у меня под ногами ловчее таракана, все вынюхиваешь, спрашиваешь!.. И доносишь! Доносишь!

— Да-с, доношу! — со старомодным пафосом воскликнул гость, осторожно распрямившись при этом на стуле, и глаза его сверкнули несвойственным ему, каким-то революционным блеском. — Доношу-с! Но примите во внимание, ненаблюдательный вы человек, слов моих не понимающий, и скажите мне: зачем я вам все это сейчас рассказал, все тайны наши изложил? Нет, не потому только, что жить мне с чадами моими тяжело, не потому только! Мы и худшие времена видали. Походил я поверху, на вас посмотрел, поспрашивал вас и что увидел? Старушку увидел, что в забегаловке вонючей за другими доедала, ребенка увидел с табаком в зубах, двух девочек увидел в постели у жирного негодяя, узнал про мать, что дитя свое, как собаку, к батарее привязывала и шла пьянствовать, про матерщину и поножовщину, про убийства и воровство повсеместное! Людьми нутрий кормят, чтоб потом из шкур их людям же шапки

шить! Скажете, нет? А я был при этом! Да сколько же еще нужно такой мерзости, такого ужаса, чтобы остановиться? Послушайте, меж нами составилась заговор, и весьма обширный. — Гость перешел на шепот. — Мы решили сегодня, где только возможно, открыться. Понимаете? Мы не можем уже, нам тошно. Как только вы обвинили меня в доноситељстве, я тотчас понял, что вы из тех, что не станут молчать, а выступят против них. Вы, все вы, должны восстать и избавиться от вашего *самого*, ибо это он и иже с ним ведут вас туда, куда ведут. О нет, не сразу избавиться, — да и не удастся сразу, — но сперва хотя бы найти друг друга, объединиться, сделаться той силой, что силу ломит. А это вам вполне возможно, уверяю вас! Надо только начать, и начать завтра же, сегодня же. В противном случае настанет день, и вы сделаетесь совершенно расслабленными, и тогда нас поведут сюда, и мы придем, и будет кровь, и мы убьем вас и... и сами перестанем быть, потому что без вас нам нельзя, и сделается пустыня, и будет в ней власть безумной в немоте своей и бессознании своем Энтропии. Да-да! И я потому это знаю, что видел однажды нашего *самого*. Только однажды видел — и понял: он — маленький ничтожный безумец, он болен самоубийством, он говорит, что только так мы в родстве своем сольемся со Вселенной. У него нет детей, ибо он изначально бесплоден, как может быть бесплодна смерть. А я так люблю своих малюток, у них самые теплые одеяльца, и они так славнo спят, посапывая своими чумазыми мордашками... Послушайте же, нельзя откладывать, ибо так много еще ослепленных. Ну? Чего же вы молчите?

А Павел Васильевич действительно молчал, лишь лицо его выражало крайнее удивление и, пожалуй, даже испуг.

— Ну ты даешь, Делириум, — выдавил он из себя, употребляя прозвище гостя скорее по привычке, так как не было уже в его голосе ни малейшей иронии.

— Да пусть, пусть Делириум! — вновь воскликнул гость. — Дело в том разве? Разве не правду я вам сказал? Разве не душат вас нищетой и голодом? А то бы мы все жили, а? — Он уже словно просил. — Ну хоть как-то бы да жили, верно? Поймите же, нам без вас никак нельзя. И вы уж нас потерпели бы, разве не так? Подумаешь, картошечки бы у вас подкапывали, еще чего по мелочам... Но ведь жили бы! Очнитесь же, чтобы жить! Мы руку вам протягиваем, мы — вам, такого еще никогда не было. Ибо стоим мы рядом, и у ног наших — пропасть небытия...

Трудно теперь сказать, какие чувства возникли в душе Павла Васильевича в эти минуты, но он вдруг исторг восторженный звук, отчаянно топнул в пол и произвольно замотал головой. И слезы радости брызнули из его глаз.

— Руку! Руку! — вскричал он, протягиваясь через стол.

И руки их обнялись и крепко сжались одна в другой.

— Я знал, знал, что ты не просто так ходишь, — горячо продолжал Павел Васильевич. — И вот — открылось! Теперь вместе, теперь покажем. А это все — побоку! — И полетел на пол графинчик с подонками такой приятной еще недавно водочки, и зазвенели, разлетаясь на осколки, стопочки, и ухнула в стену сковорода...

Они стояли друг перед другом, равные силой, словно два богатыря, еще недавно враждебные, но сумевшие найти в себе разум соединиться во имя великой цели. И был вечер...

...И было утро, когда проснулся Павел Васильевич и обнаружил у кровати своей осколки графина и стопок, сковороде и вылетевшую на пол картошку. И, проходя в кухню, глянул он на это еще раз. И после однооб-

разного, как и ужин, завтрака своего, идя в прихожую, глянул он на это. И помнилось, помнилось ему все вчерашнее. И молчалось ему. И конечно, не пелось.

И на службе все думалось...

Нет, не про то, что Делириум — галлюцинация, размышлял он. Тут все было ясно, и даже присутствие второй стопочки на столе не сбilo бы его с этого убеждения. Другое волновало — разговор сам. Был ли он, не был ли — все ведь сходилось.

И так текло до обеда, и после, когда он машинально взял свой портфель и отправился в уборную, чтобы перелить в «бронезилет» так же машинально добытую уже водочку и пристроить его, как японка ребеночка своего, на спине.

И вечером, придя домой и приготовив скудный свой ужин, все думал Павел Васильевич о том же. Но когда, включив телевизор, увидел на экране такое знакомое брезгливое лицо *самого*, когда услышал из кривого рта его раскатистое самодовольное «я-а-а», когда каждой жилкой своею воспринял успокаивающие, заторможенные движения его, Павел Васильевич не на шутку испугался. Сердце его стукнуло вдруг с неведомым доселе поворотом, будто желая ударить в ребра и замереть, да еще, еще. И рука сама потянулась к «бронезилету» и, расплескивая, наполнила стакан. И мелькнула уже сама собой обыкновенная в таких случаях предательская мыслишка: «Чего уж, когда там — всего лишь Делириум, а тут — Привычка!»

Но вот стукнуло два раза...

Однако уже не в сердце — в дверь.

«Он, — с облегчением подумал Павел Васильевич. И тут же все в нем оборвалось. — Как же это? Я ведь... не пил!»

Да и стук был не его, не Делириума, хоть и тоже два раза. Тот стучал негромко, интеллигентно.

Страх...

Тихо поднявшись, Павел Васильевич неслышно прокрался в прихожую и — не сразу — отпер дверь.

На пороге стоял очень маленького роста, полноватый господин, одетый как и Делириум, но всем остальным до боли похожий на кого-то другого, такого знакомого, может, даже с детства знакомого человека. Лицо его было большееротое и сурово, рыжая бородака топорщилась воинственно, голова была несколько, даже чересчур запрокинута, а глаза сверкали прямо и требовательно.

— Г'гохотов? Вы тут смот'гите, Г'гохотов! — выкрикнул маленький господин, делая неопределенный жест открытой ладонью. — Как бы вам п'гохо не п'гишлось!

Судорогой пронзил Павла Васильевича этот крик. Он окаменел.

А маленький господин резко развернулся и стал быстро спускаться по лестнице. Однако голова его, еще не успев скрыться из виду, вдруг так же резко замерла, вновь оборотилась к Павлу Васильевичу и как бы со ступеньки твердо, с расстановкой произнесла в добавление:

— Не советую!

И опять так знакомо взлетела рука...

Не помня себя, Павел Васильевич на ватных ногах вернулся в комнату и тяжело лег на кровать, совершенно забыв и про телевизор, и про стакан.

...Этой же ночью, к счастью для самого себя, он, по всей видимости, умер...

Без пульса

1

— Странно, — сказал врач, снимая холодные длинные пальцы с запястья Николая Михайловича Оберемока и затем пытаясь нащупать ими пульс на шее.

— Странно, — повторил он минуту спустя, прикладывая к груди Николая Михайловича сверкающую шайбу стетоскопа. И, оторвав стетоскоп от груди, повторил еще раз: — Странно... — И внимательно посмотрел на Николая Михайловича, словно подозревая его в обмане и явно не зная, что сказать на это.

А Николай Михайлович, стоявший перед ним обнаженный по пояс, с безвольно свисающими помочами, в свою очередь все время смотрел на доктора, только не внимательно, а скорее с испугом, ибо страшные предположения его получали теперь точное медицинское подтверждение: пульса не было.

— Простите, — откашлявшись, пробормотал он, — но ведь я жив, значит, сердце бьется. Оно ведь не может... Иначе...

— А мы вот что сделаем, — с наигранной бодростью произнес доктор, перебивая его смущение, и хлопнул в ладоши, надеясь, видимо, ободрить Николая Михайловича. — Рентген! Да-да, рентген! — И энергично поднялся из-за стола.

Они долго шли по коридору, спускались на первый этаж, сворачивали налево и еще раз налево, поднимались по коротким ступенькам в галерею, пока доктор не открыл перед Николаем Михайловичем обитую черным дерматином дверь и не сказал, заученно улынувшись:

— Прошу!

Николай Михайлович опять принужден был раздеться по пояс и стать, куда ему указали. Люди, бывшие в этой темной комнате, — а их вместе с доктором оказалось трое — двигали что-то тяжелое на шарнирах перед его грудью и переговаривались невнятными междометиями. Николай Михайлович практически не видел их, как не видел и того, что они наблюдали на экране, однако легко догадался, что именно побуждает их выражать свои впечатления столь неопределенно. И тем не менее он ощущал в себе жизнь, слышал, как струится в теле кровь; ее шум в ушах не мог быть обманом. Кровь... Казалось, мысли его передались людям, дышавшим рядом с ним в темной комнате.

— Попробуйте взять у него кровь, — сказал негромко один из них доктору.

Доктор ничего не ответил, лишь вздохнул.

Зажегся свет, и Николаю Михайловичу велено было одеваться. Он отошел в дальний угол, где на стуле лежали его вещи, и машинально взял в руки первое попавшееся — галстук. Те, в белых халатах, негромко переговаривались, и только рентгенолог время от времени поглядывал на него — без удивления, но и без опаски. И то: чего бы ему опасаться?

— Подождите меня в коридоре, — сказал Николаю Михайловичу доктор, не до конца повернув в его сторону голову и не глядя на него.

Николай Михайлович вышел, держа в руках пиджак, но, в надежде хоть что-то услышать, дверь не притворил. Однако ничего не услышал, так как тяжелая штора черного брезента заглушала членораздельную речь и пропускала лишь неясные звуки, интонация которых свидетельствовала лишь о возбуждении говоривших, но не проясняла и не могла прояснить смысла их слов.

«Вот ведь... — подумал Николай Михайлович неопределенно. — Вот ведь как!..»

Через несколько минут доктор вышел. Он кивнул Николаю Михайловичу, приглашая его за собой, и быстро пошел по коридору, коротко здороваясь с попадавшимися навстречу женщинами в таких же, как и у него, белых халатах. Николай Михайлович поспевал за ним, и со стороны казалось, будто он хочет догнать его и о чем-то спросить.

Спустились еще этажом ниже, в полуподвал, и пошли в обратном направлении, затем повернули в коридор, и Николай Михайлович на второй двери увидел табличку «Лаборатория». Эту-то дверь и рванул доктор, опять же кивком пропуская Николая Михайловича вперед и из-за его спины говоря что-то полной белой женщине. Женщина оторвалась от микроскопа и опустила со лба на нос очки.

— Садитесь, — указала она Николаю Михайловичу на стул возле небольшого столика, затянутого красной больничной клеенкой, и сама села напротив. Жгут мгновенно захлестнул его левое предплечье, вздулась в локтевом сгибе вена, и игла одноразового шприца ловко впилась в нее. Женщина медленно потянула на себя поршень, и шприц наполнился темной кровью. Николай Михайлович облегченно вздохнул. «Есть! Есть!» — запрыгало в голове, и что-то забилося в груди.

— Сердце! — буквально выкрикнул он доктору. — Сердце бьется!

Доктор поспешно вставил в уши стетоскоп и приложил к груди Николая Михайловича, под рубашку, холодную шайбу. Николай Михайлович от одного этого прикосновения замер и... тотчас же потерял стук в груди. Доктор вслушивался больше минуты и, освобождая уши, только покачал головой.

— Пойдемте, — сказал он, подождав, пока Николай Михайлович привел себя в порядок, и направившись к выходу.

Но не успели они сделать по коридору и двадцати шагов, как его окликнули — та самая полная белая женщина, что брала кровь:

— Владимир Георгиевич, на минутку!

Они вернулись, и Николай Михайлович хотел было войти в лабораторию вслед за доктором, но женщина жестом остановила его и прикрыла дверь.

Доктора не было минут пять. Затем он вышел, промокая лоб мятым платком.

— Идемте, — вновь произнес он, и это вышло у него почти шепотом.

Они опять пошли коридорами и, поскольку дорога уже была знакомой, вскоре вновь оказались у кабинета доктора; вошли, и Николай Михайлович, уже по-свойски, сел на стул, доктор же задержался возле умывальника, затем, вытирая руки полотенцем, прошел к окну, тотчас же вновь вернулся к умывальнику и, не замечая этого, все продолжал вытирать руки. Когда же он сел на свое место, Николай Михайлович взглянул ему в лицо и увидел в нем полную растерянность. Доктор, пряча глаза, перебирал на столе какие-то бумажки, авторучки, скрепки...

— Ну? — скорее кивнул, чем произнес Николай Михайлович.

— Н-ничего не понимаю, — пробормотал доктор и прихлопнул ладонью по столу. — Ни черта! — добавил он раздельно, полагая, что высказывается яснее.

— Почему меня не впустили в лабораторию? — спросил Николай Михайлович. — Что с моей кровью?

— С кровью? — поднял бровь доктор. — А черт ее знает, что там с ней происходит, с вашей кровью! Вы зачем ко мне пришли? Что вас беспокоило? Что именно вас беспокоило?

— Я же говорил: хотел посчитать пульс — и не нашел его; наутро то же самое. Я подумал, что не умею, и по дороге на работу зашел к вам.

— Пойдите, — перебил его доктор. — А боли какие-нибудь были? Или стеснение в груди? Головокружение? Покалывание в левой руке?.. Ну, в общем, беспокоило вас что-нибудь, кроме поисков пульса?

— Нет.

— Так-так... — Взгляд доктора опять потерялся, а руки его вновь забегали по столу, и он заговорил как бы с самим собою: — Значит, вот оно что — сердце... И кровь... И пульс... Пульс! — И тут понес уже совершенную околесину: — Но почему у нас? Пусть бы себе в Бельгии! Ничтожно малая страна, но там вечно что-нибудь происходит... Льеж, оружейные заводы, инженер Браунинг... Да! Пусть бы в Бельгии! Или в Голландии? В Голландии... Чертовы тюльпаны! Краны портовые!

— О чем вы? — встревожился Николай Михайлович.

— А! Да отстаньте вы! — Доктор, казалось, обезумел, но, остановив свой взгляд на пациенте, как будто очнулся. — Бр-р-р!.. — замотал он головой. — Извините, сам не знаю, что это на меня накатило. Еще раз: извините. Вы вот что, э-э-э... Вы ступайте себе сейчас домой... Да, так, домой. А я... — Он задумался, не зная еще, что следует предпринять именно ему, но скоро нашелся: — А я вам завтра позвоню. Мне надо кое-что уточнить... Есть у вас телефон? Оставьте номер. И адрес. Ах, адрес есть в карточке. Тогда телефон. На работу? На работу не ходите, будьте дома. Я выпишу вам больничный листок... С ума можно... Чертовщина... В Бельгии бы, а потому пусть в газеты... — Он бормотал невнятное, выписывая одновременно больничный. — Вот вам, вот... Дома посидите. Есть у вас жена?

— Нет.

— Хорошо. То есть — тьфу! — плохо, очень плохо. Кто же за вами присмотрит?

— А зачем за мной смотреть?

— Ну, в магазин... обед приготовить... температуру...

— Я и сам все это могу.

— Да? Очень хорошо. Только из магазина тотчас домой, никуда не ходите, договорились? Никуда! И лучше всего лечь в постель... Или не ложиться? — Это он опять интересовался уже у самого себя. — Нет, лягте в постель. Но и по дому походите. Посидите там, телевизор посмотрите, почитайте что-нибудь легкое... Да!.. И если что — тотчас звоните. Тотчас! Вот вам мои телефоны, служебный и домашний. А вот еще и тещи моей: вдруг я там окажусь. Звоните без церемоний. Тещу звать... тещу звать... — Он уставил широко раскрытые глаза на Николая Михайловича и прошептал: — Забыл... тещу забыл, черт бы ее побрал... И наплевать, никак ее не зовите, а я, может, к ней еще и не пойду. Ну ее в самом-то деле к черту!

— Да что это с вами, доктор? — уже всерьез обеспокоился Николай Михайлович. — Вы вроде как не в себе.

— Не в себе?! — закричал вдруг доктор. — Не в себе, говорите?! Да как же тут в себе-то быть, когда пульса у вас нет, сердце не... не шевелится, а кровь, кровь... — Тут он задохнулся, будучи не в силах закончить.

— Что «кровь»? — подался вперед Николай Михайлович.

— Я болен, — неожиданно скис доктор, уронил на стол беспокойные свои руки и безвольно опустил голову. — Я болен. У меня галлюцинации, понимаете? — Он неожиданно шмыгнул носом, выдвинул верхний ящик стола и застучал в нем бегающими пальцами, выбрасывая наверх упаковки таблеток, затем с криком «Ага!» схватил одну из них, выдавил через фольгу несколько штук и отправил их в рот, судорожно сглатывая при этом.

Николай Михайлович, видя, какой оборот принимают события, в испуге выбежал в коридор и закричал: